### XXXVIII. Философ

### Уильям Сомерсет Моэм

Удивительно было найти столь большой город в столь отдаленной, как мне казалось, безлюдной глуши. С башни его ворот, обращенных к закату, виднелись снежные горы Тибета. Он был так перенаселен, что спокойно прогуливаться вы могли только по стенам, а чтобы обойти их все быстрым шагом, ходоку требовалось три часа. Ближайшая железная дорога находилась в тысяче миль от него, а река, на которой он стоял, была такой мелководной, что плавали по ней только легко нагруженные джонки. В сампане до верхней Янцзы можно было добраться за пять дней. И минуту-другую вы смущенно спрашивали себя, а так ли уж необходимы для жизни поезда и пароходы, как мы привыкли верить. Ведь здесь благополучно проживал миллион человек: люди женились, рождали детей, умирали. Миллион их усердно занимался торговлей, искусством, размышлениями.

И здесь жил именитый философ — желание увидеть его входило в число причин, подвигнувших меня на это не такое уж легкое путешествие. В Китае его считали величайшим знатоком конфуцианства. По слухам, немецкий и английский он знал в совершенстве. Много лет он был секретарем одного из знаменитейших правителей, назначавшихся вдовствующей императрицей, но теперь удалился от дел. Однако круглый год в определенные дни недели его двери были отворены для взыскующих знания, и он беседовал с ними об учении Конфуция. У него был круг учеников, но не многочисленных, так как его скромному жилищу и строгим требованиям молодые люди по большей части предпочитали великолепные здания заморских университетов и практичные науки варваров — он же упоминал о них только для того, чтобы с презрением отвергнуть. Судя по всему, что я о нем слышал, он был оригиналом.

Когда я объявил о своем желании посетить этот светоч мудрости, мой гостеприимный хозяин тут же обещал все устроить, однако проходили дни, а об этом ничего не говорилось. Я заговорил сам, и мой хозяин пожал плечами.

— Я послал сказать ему, чтобы он приехал. Не понимаю, почему он не появился. Старик с характером.

Мне показалось, что нельзя обращаться к философу столь бесцеремонно — неудивительно, если подобное приглашение он оставил без ответа. По моему настоянию ему отправили письмо, в котором я в самых почтительных, какие только мог придумать, выражениях осведомлялся, не разрешит ли он мне посетить его, и через два часа получил ответ, что он ждет меня на следующее утро в десять часов.

Меня отнесли туда в кресле. Дорога казалась бесконечной. Мы кружили по людным улицам, пока наконец не оказались в тихом пустом переулке, где носильщики опустили кресло вместе со мной перед дверцей в белой длинной стене. Носильщик постучал в нее, и через довольно долгое время в ней открылось окошечко. В него выглянули темные глаза. Последовали короткие переговоры, и меня наконец впустили. Бледный юноша, весь сморщенный и бедно одетый, сделал мне знак следовать за ним. Я не понял, слуга он или ученик. Мы пересекли убогий дворик, и меня ввели в длинную комнату с низким потолком, скудно обставленную — американское бюро с полукруглой крышкой, пара кресел черного дерева и два китайских столика. Стены были все в полках, на которых теснилось множество книг, по большей части, разумеется, китайских, однако с заметным вкраплением философских и научных трудов на английском, французском и немецком языках, — и еще уйма непереплетенных научных журналов. В промежутках между полками висели свитки, на которых было что-то начертано разными каллиграфическими стилями. Изречения Конфуция, решил я. Ковра на полу не было. Комната выглядела холодной, пустой и неуютной. Угрюмость ее смягчалась только желтой хризантемой, которая одна занимала высокую вазу на бюро.

Некоторое время я ждал, потом юноша, проводивший меня сюда, принес чайничек с чаем, две чашки и жестянку виргинских сигарет. В тот миг, когда он покинул комнату, вошел философ. Я поспешил выразить свою благодарность за честь, которой он меня удостоил, согласившись меня принять. Он жестом пригласил меня сесть и разлил чай.

— Я польщен, что вы пожелали со мной познакомиться, — сказал он в ответ. — Ваши соотечественники имеют дело только с кули и с торговцами. По их убеждению, всякий китаец либо то, либо другое.

Я осмелился возразить. Но я не понял его намека. Он откинулся в кресле и насмешливо посмотрел на меня.

— Они считают, что достаточно поманить пальцем и мы обязаны кидаться к ним со всех ног.

Я понял, что злосчастное приглашение моего друга задело его довольно сильно, и, не зная, что ответить, пробормотал что-то лестное.

Он был высоким стариком с жидкой седой косицей и блестящими черными глазами, под которыми набрякли мешки. Зубы у него были щербатые и темные. Худ он был невероятно, и его руки, маленькие и изящные, выглядели иссохшими клешнями. Мне говорили, что он курит опиум. Одет он был бедно — черное одеяние, черная шапочка, заметно поношенные, и темно-серые штаны, завязанные у лодыжек. Он внимательно на меня поглядывал. Очевидно, ему было неясно, как со мной держаться, и в нем чувствовалась настороженность. Среди тех, кто посвятил себя духовности, философ, разумеется, занимает место монарха, а если верить такому авторитету, как Бенджамин Дизраэли, монархов следует потчевать обильной лестью. Я пустил в ход всю свою изобретательность и вскоре заметил, что он немножко смягчился. Он был словно человек, который позирует фотографу, но, услышав щелчок затвора, расслабляется и становится самим собой. Он показал мне свои книги.

— Степень доктора философии я получил в Берлине, как, может быть, вы знаете, — сказал он. — Потом некоторое время занимался в Оксфорде. Но англичане, если вы позволите мне так выразиться, к философии не слишком склонны.

Хотя сказано это было извиняющимся тоном, но маленькую шпильку он отпустил с явным удовольствием.

— Однако и у нас были философы, оставившие свой след в мире мысли, — заметил я.

— Юм и Беркли? Философы, преподававшие в Оксфорде, когда я был там, избегали задевать своих богословских коллег. Они не доводили свои рассуждения до логического конца, опасаясь повредить своему положению в университете.

— А вы изучали развитие современной философии в Америке? — спросил я.

— Вы имеете в виду прагматизм? Последнее прибежище тех, кто хочет верить в невероятное? Американскую нефть я нахожу полезнее американской философии.

Его суждения были едкими. Мы вновь сели и выпили еще по чашке чаю. Его речь обрела обстоятельность, говорил он по-английски очень правильно, хотя свободно пользовался идиоматическими оборотами. Иногда для пояснения своей мысли он вставлял немецкие фразы. В той мере, в какой подобный упрямый человек способен поддаться влиянию, он находился под влиянием немцев. Методичность и трудолюбие немцев произвели на него глубокое впечатление, а их тонкое восприятие философии получило в его глазах неопровержимое доказательство, когда некий дотошный профессор опубликовал в весьма ученом журнале статью об одной из собственных его работ.

— Я написал двадцать книг, — сказал он. — И это — единственное упоминание обо мне в европейских публикациях!

Впрочем, изучение европейской философии в конечном счете лишь окончательно убедило его, что истинная мудрость заключена все-таки в конфуцианском каноне. Эту философию он принял безоговорочно. Она отвечала потребностям его духа с такой полнотой, что вся чужеземная ученость выглядела напрасной тратой времени. Меня это заинтересовало как подтверждение давней моей мысли, что философия опирается более на характер, чем на логику: философ верует в зависимости не от умозрительных доказательств, но, согласно своему темпераменту, и разум лишь оправдывает то, в чем его убеждает инстинкт. Если конфуцианство так прочно овладело китайцами, то потому лишь, что оно выражало и объясняло их, как никакая другая система мышления.

Мой хозяин закурил сигарету. Вначале он говорил надтреснутым и утомленным голосом, но, по мере того как собственные слова все больше его заинтересовывали, голос этот обретал звучность. Говорил он с каким-то исступлением. В нем не было и следа безмятежности легендарных мудрецов. Он был полемистом и бойцом. Современный призыв к индивидуализму внушал ему отвращение. Для него общество означало единство, а семья была основой общества. Он восхвалял старый Китай и старую школу, монархию и жесткий канон Конфуция. С ожесточенной горечью он говорил о нынешних студентах, которые возвращаются из чужеземных университетов и святотатственными руками рвут и крушат старейшую цивилизацию мира.

— Но вы, — вскричал он, — знаете ли вы, что делаете? По какому праву вы смотрите на нас сверху вниз? Превзошли ли вы нас в искусстве и литературе? Уступали ли наши мыслители глубиной вашим? Была ли наша цивилизация менее развитой, менее сложной, менее утонченной, чем ваша? Да ведь когда вы еще жили в пещерах и одевались в шкуры, мы уже были культурным народом. Вам известно, что мы поставили эксперимент, уникальный в истории мира? Мы стремились управлять огромной страной с помощью не силы, но мудрости. И много веков преуспевали в этом. Так почему же белые презирают желтых? Сказать вам? Да потому что белые изобрели пулемет. Вот в чем ваше превосходство. Мы — беззащитная орда, и вы можете разнести нас в клочья. Вы сокрушили мечту наших философов о мире, в котором правят закон и порядок. И теперь вы обучаете вашему секрету нашу молодежь. Вы навязали нам ваши чудовищные изобретения. Или вы не знаете, что в области механики мы гении? Или вы не знаете, что в пределах этой страны трудятся четыреста миллионов самых практичных и прилежных людей в мире? Как по-вашему, много ли нам потребуется времени, чтобы выучиться? И что станет с вашим превосходством, когда желтые научатся делать пушки не хуже, чем белые, и стрелять из них столь же метко? Вы положились на пулемет, и пулеметом будете вы судимы.

Но тут нас прервали. В комнату вошла маленькая девочка и прильнула к старику. Он сказал мне, что это его младшая дочь. Он обнял ее и, что-то ласково шепча, нежно ее поцеловал. На ней были черная кофта и штаны, едва достигавшие ей до лодыжек, а на спину падала длинная коса. Она родилась в тот день, когда революция победоносно завершилась отречением императора.

— Я думал, что девочка явилась провозвестницей Весны новой эры, — сказал он. — Но она была лишь последним цветком Осени великой нации.

Из ящика американского бюро он достал несколько монет, дал их девочке и отослал ее.

— Вы видите, я ношу косу, — сказал он, беря ее в руки. — Это символ. Я последний представитель старого Китая.

Более мягким тоном он поведал мне, как в былые времена философы в сопровождении учеников переходили из княжества в княжество, обучая всех, кто был достоин обучения. Монархи призывали их к себе на совет и назначали правителями городов. Он обладал обширной эрудицией, и его округлые фразы придавали многокрасочную живость эпизодам истории его родины, которые он упоминал. Невольно он представился мне довольно жалким. Он чувствовал в себе способность управлять государством, но не было монарха, который вручил бы ему бразды правления; он был хранителем учености и жаждал передать ее множеству учеников, по которым томилась его душа, а внимать ему приходила лишь горстка бедных, заморенных голодом провинциалов.

Раза два я начинал тактично прощаться, но ему не хотелось меня отпускать. Дольше оставаться я уже не мог и встал. Он задержал мою руку в своих.

— Мне хотелось бы подарить вам что-нибудь на память о вашем посещении последнего философа Китая. Но я беден и не нахожу ничего, что было бы достойно вашего внимания.

Я заверил его, что воспоминание о нашей встрече уже бесценный дар. Он улыбнулся:

— В нынешние демократические дни память людей стала короткой, и мне хотелось бы подарить вам что-нибудь более весомое. Я подарил бы вам одну из моих книг, но вы не читаете по-китайски.

Он поглядел на меня с дружеской растерянностью, и тут меня осенило.

— Подарите мне образчик вашей каллиграфии, — сказал я.

— И вы будете довольны? — Он улыбнулся. — В дни моей юности считали, что я владею кисточкой не столь уж дурно.

Он сел за стол, взял большой лист бумаги и положил перед собой. Капнул водой на камень, потер по нему палочкой туши, взял кисточку и начал писать, свободно двигая рукой от плеча. Следя за ним, я, посмеиваясь про себя, вспомнил еще кое-что мне про него известное. Как говорили, почтенный старец, едва ему удавалось накопить немножко денег, расточительно бросал их на ветер в квартале, населенном дамами, для описания которых обычно употребляются эвфемизмы. Его старшего сына, видное лицо в городе, такое скандальное поведение сердило и ставило в унизительное положение. Только сильное чувство сыновьего долга удерживало его от сурового нагоняя распутнику. Не спорю, такая безнравственность для сына достаточно тяжела, однако те, кто изучает человеческую натуру, смотрят на нее без возмущения. Философы склонны полировать свои теории в кабинетной тиши, делая выводы о жизни, которую знают лишь из вторых рук; и мне часто казалось, что их труды обрели бы большую весомость, испытай они на себе прихоти судьбы, выпадающие на долю обыкновенных людей. Я был готов взглянуть на забавы почтенного старца в злачных местечках с полной снисходительностью. К тому же он, быть может, лишь тщился пролить свет на самую неизъяснимую из человеческих иллюзий.

Он закончил. Чуть-чуть присыпал лист пеплом, чтобы тушь скорее высохла, и встал, протягивая его мне.

— Что вы написали? — спросил я.

Мне показалось, что в его глазах вспыхнул злокозненный огонек.

— Я осмелился преподнести вам два маленьких моих стихотворения.

— Я не знал, что вы к тому же и поэт.

— Когда Китай был еще нецивилизованной страной, — сказал он саркастически, — все образованные люди умели слагать стихи — хотя бы изящно.

Я взял лист и посмотрел на иероглифы. Они сплетались в очень приятный узор.

— Но не напишете ли вы мне и перевод?

— Traduttore — traditore[[1]](#footnote-1), — ответил он. — Не можете же вы требовать, чтобы я предал себя! Попросите кого-нибудь из своих английских друзей. Те, кто знает о Китае особенно много, не знают ничего, но, конечно, вы найдете такого, кто сумеет перевести вам несколько простых безыскусных строк.

Я попрощался с ним, и с величайшей любезностью он проводил меня до носилок. При первом удобном случае я отдал стихи моему знакомому синологу, и вот они в подстрочном переводе, который он сделал. Признаюсь, что, прочитав их, я был — вероятно, без малейшего на то основания — крайне изумлен.

Ты меня не любила: твой голос был сладок,

Глаза полнились смехом, руки были нежны.

А потом ты полюбила меня: твой голос был горек,

Глаза полнились слезами, руки были жестоки.

Как грустно, как грустно,

что любовь сделала тебя такой,

Какую нельзя любить.

Я жаждал, чтобы годы проходили быстрее,

Чтобы ты лишалась

Блеска глаз, персиковой нежности кожи

И всего жестокого великолепия своей юности.

Тогда я один буду любить тебя

И наконец-то ты будешь неравнодушна ко мне.

Завистливые годы промчались слишком быстро,

И ты лишилась

Блеска глаз, персиковой нежности кожи

И всего чарующего великолепия своей юности.

Увы, я не люблю тебя

И равнодушен к тому, что ты ко мне неравнодушна.

1. Переводить — значит предавать (*ит* .). [↑](#footnote-ref-1)